

ВЫНОСЧИК

ТРИ ВОЙНЫ ВАДИМА ГОРСКИХ

СВО

ТОМ ТРЕТИЙ

«— Стоишь? — Стою, ма»

Андраник Алавердян

Алавердян Андраник
Выносчик. Том 3. СВО

«Автор»

2026

Андраник А. А.

Выносчик. Том 3. СВО / А. А. Андраник — «Автор», 2026

ТОМ ТРЕТИЙ. «СВО (война без статуса)» Март 2023-го. Эшелон на юг — третий за жизнь. Вадиму Горских сорок семь, и он едет воевать рядом с теми, кто годится ему в сыновья. Дома его зовут ведущий разработчик. Здесь — Батя. Он умеет то, чего не умеют двадцатилетние: копать в мерзлоте, слушать тишину и выносить людей. Он носит воду на передок и учит молодых писать письма матерям. В нагрудном кармане — три талисмана: письмо 1995 года, горсть адлерской земли и берёзовый лист из Дудкина. Против сердца. Здесь будут нулевые линии, где нельзя поднять голову. Небо, которое работает против тебя. Авдеевка и грязь по грудь. Кабан — таксист с телефоном, где одно-единственное видео: дочь читает стихи. Будет последнее «Батя, беги!» — и долг, который пишут бумажными письмами чужому ребёнку. А в мае, под День Победы, мать соберёт посылку — и получит вместо неё треугольник. У него было сорок девять лет, три войны и одна роща, где его ждут. «Горских не носят. Горских — держат».

© Андраник А. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава Сорок девятая. Дед	5
Глава Пятьдесятая. Эшелон	8
Глава Пятьдесят первая. Нулевая Линия	11
Глава Пятьдесят вторая. Фруктовая Роща	14
Глава Пятьдесят третья. Вода	16
Глава Пятьдесят четвёртая. Небо Работает	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Алавердян Андраник

Выносчик. Том 3. СВО

«— Стоишь? — Стою, ма» — переписка длиной в два года и всю жизнь.

Автор: Алавердян Андраник Аришкovich

Глава Сорок девятая. Дед

Учебный центр стоял на голом ветру, и рассвет приходил туда первым — раньше людей, раньше подъёма, раньше горна. Небо на востоке наливалось ровным серым золотом, как наливается вода в бачок жестяного умывальника: нехотя, со дна, — и вот уже весь горизонт светился изнутри, и длинные тени от вышек лежали на плацу поперёк, ровно, как строки, которые кто-то прочертил линейкой. Вадим стоял у окна казармы, не двигаясь, и смотрел на этот рассвет, и думал, что рассветы, оказывается, не старятся. Всё старится — лица, автоматы, страны, а рассвет над плацем такой же, как в Балтийске девятьсот девяносто пятого, — тот же цвет, та же тишина перед горном, то же чувство, что день, который начинается, будет длиннее всей жизни.

Ему было сорок семь. В казарме спали пятьдесят восемь человек, и младшему было девятнадцать.

Он попал сюда в конце марта, через неделю после того, как в военкомате, в кабинете с картиной «трое богатырей» на стене, майор медицинской службы, женщина с усталыми добрыми глазами, читала его документы молча, дольше, чем читают, — и, закрыв папку, сказала не «годен», а проще: — Ну что с тобой делать, Горских. Пойдёшь, всё равно пойдёшь. Иди.

Он пошёл. Иному в его возрасте подписывали бумаги с боем, со справками, с оговорами; ему подписали за двадцать минут — ветерану двух чеченских, с военным билетом, в котором стояли печати, каких у молодых не было и не будет. В коридоре военкомата он позвонил матери, и мать выслушала его молча, а потом сказала только: — Как отец бы. Он бы тебя не держал. Я тоже не буду.

Горских не носят — Горских держат. Держать — значило отпустить.

В казарме он спал на второй ярусе, потому что нижние места разобрали мальчишки, — и не спорил. В первый же вечер к нему подсел командир взвода, лейтенант двадцати трёх лет, сёл напротив, посопел и спросил, откашлявшись: — Товарищ сержант... вы же раньше служили. Ну, вообще... как оно там? — и Вадим понял, что лейтенант боится не войны — боится не знать, как спрашивать у тех, кто знает. Они проговорили час, и на прощание лейтенант сказал: — Вы, если что, поправляйте меня. Я не обижусь. — И это были самые мудрые слова, какие Вадим слышал за месяц.

Мальчишки звали его «дедом» — сперва за глаза, потом в глаза, и в этом слове не было армейской злости, не было казарменного «дедушки» девяностых; оно звучало по-домашнему, как в деревне: дед — тот, кто умеет. Двухлетние приходили в армию нового времени — с наушниками, с наколотыми на запястьях молитвами, с привычкой проверять телефон каждые четыре секунды; телефоны у них отобрали в первый же день, и трое суток взвод ходил, как отрезанный от розетки, потирая пустые карманы. А потом — ничего, отошло. Человек, выяснилось, отходит от всего за трое суток, кроме памяти.

Физически Вадим был стар, и тело сообщало ему об этом по утрам: осколок, оставшийся с Бамута возле позвоночника, просыпался раньше будильника и ныл ровно, терпеливо, как ноет старый дом. Но на нормативах он укладывался — не рекордно, а ровно: три километра — в своём ритме, без рывков, дыша, как учили двадцать восемь лет назад; подтягивания — без

рывков тоже; огневая — вот тут мальчишки замолкали. Он ложился с автоматом, и автомат ложился вместе с ним, и земля перед мишенями вставала дыбом ровной строчкой, без спешки, без лишнего. — Дед, — сказал рыжий парень из Рязани, — ты же из автомата, как из ложки ешь. — Из ложки, — согласился Вадим, — только не спеши, когда ешь. Поперхнёшься.

А вот небо пришлось учить заново.

Класс по дронам был в утеплённой палатке: экран, пульта, полдюжины аппаратов, похожих на больших стрекоз, и инструктор — гражданский парень в свитере, лет двадцати восьми, говоривший быстро и счастливо, как говорят люди о деле, которое любят. Он объяснял: вот корректировщик, вот ударный; вот так он висит; вот так его слышно; вот так он видит тебя, когда ты думаешь, что тебя не видно. Мальчишки схватывали на лету — они выросли с джойстиками в руках, для них небо было рабочей поверхностью. Вадим слушал, и внутри у него медленно, тяжело, как колонна по мосту, разворачивалась мысль: вся война его молодости ходила по земле. Смерть была на земле — в минах, в засадах, в пулях, которые летели от земли до земли, по прямой, на уровне человеческого пояса. Пригнись — и ты уже наполовину жив. Теперь смерть висела в воздухе. Она висела над тобой четыреста метров и смотрела вниз, терпеливая, как коршун над покосом, и от неё нельзя было укрыться за бруствером, потому что бруствер спасал только от того, что летит сбоку.

— Товарищ инструктор, — спросил Вадим на третьем занятии, — а если лежишь и не движешься? — Инструктор посмотрел на него с удовольствием человека, которого наконец спросили по существу. — Лежишь и не движешься — это уже полдела, отец. Вторая половина — чтобы тебя туда не положили заранее. Тепловизор-то не спит.

«Отец». Инструктор был младше его лет на двадцать и звал его «отец», и это было правильно, и Вадим, выйдя из палатки, поймал себя на том, что усмехается. Небо теперь тоже воюет, — думал он. — Ну что ж. Будем воевать с небом. Мы и раньше воевали с тем, что было: с зимой, с горами, с дорогами. Небо — просто новая гора. Только ходить по нему надо глазами.

Берёзу он нашёл на четвёртый день — за столовой, у забора из колючки: одна, между вышкой и мусоркой, белая, с чёрными прожилками, тонкая, лет двадцати от роду. Она не должна была там выжить — земля была утоптана в бетон ногами поколений, — но она стояла и уже пускала клейкие листочки, важные, как письма. Вадим подошёл, тронул ствол ладонью — привычка старше его самого, — и ладони стало холодно и чисто. «Та самая», — подумал он, не объясняя себе, о чём мысль, потому что мысль была не про слова. Все берёзы — одна берёза. Стоит у Кузьминок, стоит в Дудкине над прудом, стоит здесь, у мусорки учебного центра, между колючкой и вышкой. Мать говорила с берёзами — он знал; он сам не умел, но стоять рядом умел.

В нагрудном кармане, слева, под сердцем, лежали два листа бумаги, и он носил их, не перечитывая, как носят крест: письмо девяносто пятого года, собранное по слову, как собирают осколки, — и берёзовый лист, сорванный в Дудкине в марте, перед эшеленом, тонкий, уже не зелёный, а прозрачный, сухой, живой. Карман был его домом в доме.

Ночью за неделю до выпуска не спали: мальчишки шёпотом говорили о разном, и кто-то спросил в темноту: — Дед, а страшно там? Вадим лежал на втором ярусе, глядя в панцирную сетку, на которой держался матрас, и отвечал честно, потому что врать в темноте бесполезно: — Страшно. Кто говорит «не страшно» — тот там ещё не был или уже не вернётся. Страх — как вода: его нельзя выпить заранее, но можно носить с собой и пить по глотку, когда сушит. — Помолчали. Потом тот же голос, младше: — А ты нас научишь? — Приучу, — сказал Вадим. — Копать научу. Слушать научу. Молчать научу. Дальше — сами.

Он сказал это и услышал со стороны — Циркуля: «ты — выносчик». Так называл его сержант Циркунов девяносто девятого года, учитель труда из Тулы, на войне учивший его тому же самому: ровно, терпи, выноси. Голос друга, не услышанный полгода, — Циркуль сам ушёл

добровольцем осенью, в другую часть, — прозвучал внутри, как из соседнего окопа, и Вадим повернулся на бок и уснул.

Утром семнадцатого апреля объявили построение с вещами. Плац был пуст и огромен, рассвет уже кончился, солнце стояло над вышками низко и светило сквозь пыль ровным белым светом. Вадим стоял в шеренге вторым от правого фланга — место, которое дают старшим, — и смотрел, как бежит по плацу его тень, длинная, в полный рост, и как за ней бегут, перекликаясь, тени мальчишек. За столовой, у колючки, стояла берёза и блестела новыми листьями на весь учебный центр, на всю землю, на всю его жизнь.

«Ну вот, — подумал он спокойно. — Собрались».

Глава Пятьдесятая. Эшелон

Эшелон был не тот и тот.

Не тот: вместо тёплушек, в которых его поколение ехало на юг в девяносто четвёртом, — пассажирский состав, списанные плацкартные вагоны с зашоренными окнами; вместо тушёнки из термоса — сухпай в целлофане; вместо гитары — у каждого в кармане своя, тонкая, светящаяся: телефон. И всю дорогу, от запасных путей до самого юга, вся рота — семьдесят человек — смотрела в эти маленькие огни: кто в кино, кто в переписку, кто в карты, и Вадим, сидя у окна, смотрел на них и думал, что вот она, главная перемена: тогда — везли молчание, теперь везут шум. Семьдесят человек несли с собой на войну свои миры — семьи, чаты, группы, — и война начиналась у каждого не с выстрела, а с рассылки: «пишите, не пропадайте».

Тот: закат за вагонами.

Он увидел его на вторые сутки, где-то за Воронежем, когда поезд шёл юго-восточным ходом и солнце садилось справа, за насыпью, за полями. Он смотрел в окно — стекло было грязное, в известковых потёках, — и солнце шло вниз, и небо делалось тем, чем оно делалось всегда на его войнах: сперва жёлтым, потом оранжевым, потом — багровым снизу и синим вверху, и в этой синеве всплывала первая звезда. Тот же закат висел над эшелоном девяносто четвёртого — он помнил его, шестнадцатилетней давности, сквозь щель теплушки; тот же — над эшелоном девяносто девятого. Закаты не стареют. Закат — это то, что на войне остаётся от мирного времени нетронутым.

— Дядь Вадим, — окликнул его сосед по купе, Лёха-Кабан, здоровенный мужик под сорок, с ломаным носом таксиста и добрыми глазами, — а вы правда два раза уже были? Ну, там?

— Правда, — сказал Вадим.

— И как оно?.. — Лёха не договорил, махнул рукой. — Ладно. Сам увижу. Чего спрашивать-то, всё равно не расскажете.

— Расскажу, — сказал Вадим. — Спрашивай. Только тут, — он кивнул на купе, на мальчишек, на телефоны, — вслух не надо. Потом. На месте.

Кабан — позывной у него уже был, приклеился в учебке за привычку всё ломать и чинить: кабан ломает — кабан чинит, — кивнул и замолчал. Он был из Тулы, таксист, оставил дома жену и дочь-школьницу; телефон его, старый, с треснутым экраном, был забит одним-единственным видео: дочь читает стихи, кривляясь и краснея. Он показывал это видео Вадиму в учебке, раз пять, всякий раз как впервые, и Вадим каждый раз смотрел до конца и каждый раз говорил: «хорошая. На маму». — «На маму, — соглашался Кабан счастливым басом. — На маму».

Так они и ехали: рота, дорога, закаты. На больших узлах состав стоял по два-три часа, и разрешали выйти — на перрон, размяться; и Вадим, шагая вдоль состава в своей вытертой «цифре», ловил на себе взгляды провинциальных перронов: женщины смотрели — по-разному: кто с испугом, кто с жалостью, кто — как на сына; старик в кепке, торговавший семечками, — по-отечески, строго: «сынок, закурить есть?» — и, получив «не курю, отец», кивнул уважительно: «молодец. Курить — стрелять мешает».

На одном из узлов — он потом не вспомнил, на каком, все узлы слились, — случилась сцена, которую Вадим запомнил на всю оставшуюся жизнь.

Состав стоял. Рота высыпала на перрон. И вдруг — от привокзальной площади, от остановки — отделилась женщина: пожилая, в плаще, с сумкой. Она шла вдоль состава, вдоль их цепочки, — шла и смотрела в лица, искала. Мальчишки замолкали, провожая её глазами. Она дошла до середины перрона, остановилась против Вадима — самый старший, сама статность, — и спросила громко, просто, по-человечески:

— Сынки. А вас туда надолго?

Перрон затих. Кто-то из молодых открыл рот — ответить уставно, — но Вадим шагнул вперёд, чуть, полшага, и ответил ей так, как отвечал когда-то её сверстницам на чеченских дорогах:

— До конца, мама. До конца и домой.

Она постояла, кивнула — медленно, по-хозяйски, как кивают матери, принимая ответ, — достала из сумки пакет: яблоки, десятка два, — и сунула ему в руки. И пошла дальше, вдоль состава, — а навстречу ей уже вставали, уже тянули руки, уже совали — кто конфету, кто сигареты, кто просто ладонь, — и она шла сквозь строй, маленькая, старая, и раздавала, раздавала, — и Вадим стоял с яблоками в пакете и чувствовал, как горят глаза. «Вот она, — думал он. — Вот она, вся страна, вот весь её вклад: яблоки и «до конца и домой». Всё остальное — слова».

Яблоки съели всей ротой, по одному на брата, вечером, на большой воде, — и они были лучшие яблоки этой войны.

Вечером того же дня Кабан залез к нему с разговором — подсел на нижнюю полку, приутился, большой, осторожный, как садятся медведи, и спросил вполголоса: — Дядь Вадим... а покажи, как ты тогда, в первую... ну, матерям писал. Первое письмо — как? А то я первое написать не могу... — Он запнулся, поправился: — Не знаю, как начинать. Чтобы она не заплакала.

— Не пиши, чтобы не заплакала, — сказал Вадим. — Пиши, как есть. Мать плачет не от слов. Мать плачет от того, что ты далеко. А письмо — это ты, рядом, на кухне. Понял?

Кабан думал долго, шевеля губами, потом кивнул и достал телефон — не писать, показывать: на треснутом экране дочь, лет одиннадцати, с косой, стояла у новогодней ёлки и пела — конфузясь, краснея, с завываниями, — песню про школу, и Кабан смотрел на неё поверх телефона, снизу вверх, лицом в четверть экрана, и лицо у него было — всё, что у него было. — На «Новый год», — сказал он сипло. — Это она мне. Одна, сама, без никого. Я, — он поискал слово, — я это с собой, прям... если что. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Вадим. И понял.

А про своё первое письмо он думал потом, в темноте, пока рота засыпала. Проводов, как в девяносто четвёртом, не было: мать не поехала на станцию — она проводила его раньше, по-своему, в Дудкине, в роще над прудом, куда они съездили вдвоём перед самой учебкой. Она ходила между берёз медленно, трогала стволы, как здороваются, а у своей — высокой, с двойной вершиной — постояла долго, спиной к нему, и сказала наконец, не оборачиваясь: — Я тебя не отговариваю. Отговаривать — это я бы тебя держала. А Горских не носят, Горских — держат, — ты это и так знаешь. Я тебя отпускаю, как отец бы. Только пиши. Бумагой пиши, не этой трубкой: голос передаёт горе, а бумага — терпение. — И он обещал. И она уже ждала его писем — бумажных, крупными буквами, — и он знал, что ждать ей теперь два года, а может, и дольше, и что кувшин, в котором она носит воду горя, закрыт плотно и откроется один раз — если. «Если» — слово, которое на войне не произносят.

В нагрудном кармане, под сердцем, лежал конверт девяносто пятого года — другое письмо, другая женщина, несбывшееся, — и берёзовый лист, сорванный в той роще в марте. Он не трогал их всю дорогу. Не время было. Но чувствовал — обоих, как чувствуют рёбра, когда дышит.

А ночью, на третьи сутки, связь кончилась.

Это произошло не разом — по степям, по глухим однопуткам, станция за станцией, гасли сети: сначала пропала одна, потом другая, потом — все, и телефоны семидесяти человек разом показали одно и то же: «нет сервиса». И с этим «нет сервиса» в вагоне стало — тихо. Настоящая тишина въезжала в вагон, как въезжают в тоннель: сначала перестали светиться экраны, потом — разговоры, и стало слышно, как стучат колёса, как гудит состав на стыках, — и Вадим,

лежа на второй полке в темноте, слушал этот стук и чувствовал: вот. Вот сейчас они все — вернулись. Вернулись в его время, в его девяносто четвёртый: в тишину, в стук, в ожидание. Телефоны погасли — и войны стало — поровну. Теперь у всех — одна на всех: за окном, на юге, без сети.

Он лежал и слушал. Где-то внизу Кабан ворочался, скрипя полкой; кто-то из мальчишек вздыхал во сне — тонко, по-детски; состав нёсся в темноте, и стук колёс складывался в слова, как складывался всегда: «туда-туда, туда-туда». Впереди была война — третья в его жизни, — и он ехал на неё, сорокасемилетний, с тетрадкой выучки, с берёзовым листом у сердца и с семьюдесятью чужими сыновьями вокруг, которых ему предстояло — учить, беречь и выносить.

«Туда-туда, — стучало. — Туда-туда».

Он уснул — и во сне увидел берёзу: не дудкинскую, не плацовскую — просто берёзу, белую, в чистом поле, под огромным небом. Она стояла и ждала. Он проснулся на рассвете: поезд тормозил, за окном вставало солнце — красное, из-за земли, — и голос из коридора, молодой, сонный, говорил-докладывал кому-то:

— Приехали, братва. Приехали.

Глава Пятьдесят первая. Нулевая Линия

Их выгрузили на рассвете, в чистом поле, где стоял только хлебный комбайн без колёс и горела в холодном небе одинокая звезда, — и повели пешком, колонной, шесть километров до ротного опорного пункта. Шли по грунтовке, по чернозёму, ещё весеннему, влажному; над полями стоял туман — не высокий, по колено, — и колонна шла в нём, как в молоке, и верхняя половина людей была в рассвете, а нижняя — в ночи. Вадим шёл в голове колонны и слушал. Тяжесть в воздухе чувствовалась сразу, за версту, — так в детстве чувствовалась гроза: ещё ничего нет, а уже давит. Где-то далеко, размеренно, как работа, гудело — не то гром, не то машины, — и на этом фоне юг неба вспыхивал иногда короткими тёплыми вспышками, беззвучными, далёкими, как фотографирование чужого праздника.

— Тихо как, — сказал Кабан за спиной. — Я думал — громче.

— Это и есть громче, — сказал Вадим. — Дальше будет громче некуда. Иди.

Рота заняла позиции к полудню. Опорный пункт стоял на высотке над балкой: хода сообщения, перекрытые щели, блиндаж с накатом в три бревна, — и, главное, — тихо, глубокая траншея полного профиля, вырытая, судя по траве на бруствере, ещё прошлым летом. До противника, сказал Граф, майор, командир роты, ровесник Вадима, сухой, с сеточкой у глаз, — было четыреста метров. Четыреста метров — и где-то там, в зелёнке и промзоне, в траншее, такой же точно, сидели люди, которые имели все возможности и все причины стрелять.

— Вот, — сказал Граф, — ваши дома. Насмотритесь на них — я в штаб. Учите людей, Горских. Ты тут старший по опыту, я — по должности. Вместе справимся.

«Нулевые линии» — так эти позиции назывались у всех, и Вадим, услышав название, понял его сразу, нутром. Ноль — это когда сближения нет и отступления нет: ты стоишь вплотную, дыша в затылок врагу, и вся твоя жизнь теперь помещается в четыре метра матёрого брустверного грунта и в глубину щели. Между ними и противником лежало поле — вспаханное, с горелыми остовами техники, — и поле это было миновано, свои подходы и чужие, — и Вадим ходил первый день вдоль всей траншеи и запоминал: вот проход, отмеченный колышками и кашей протоптанных следов; вот ложбина, простреливаемая насквозь; вот два окопа со следами «ёжиков» — противотанковых ежей, ржавых, ненужных тут, перекатившихся сюда из другого, старого времени.

Первый день прошёл в обустройстве. Вадим учил, и учение это было старше всех войн: копать — поглубже, с запасом под себя, а не «как у всех»; бруствер — выше головы, когда стоишь; полку в нише — под локоть, чтобы спать сидя и вставать без рук; воду — не в одну бочку, а в три, и в трёх местах; ложиться при звуке — не бегом, а вбок, за угол хода сообщения, потому что бегущего видит и снайпер, и дрон. Мальчишки слушали. Кабан, здоровенный, ломал лопату о мёрзлый ком и ругался так, как ругаются на войне, — музыкально, с раскатом, — и Вадим, не улыбаясь, сказал: — Лопату береги. Здесь лопата дороже автомата. Автомат здесь есть у всех, а жизнь — не у всех.

— А правда, дядь Вадим, — спросил вечером Сынок, худой, быстроглазый парень две тысячи второго года рождения, самый младший во взводе, приставленный к Вадиму «в сыновья полка» за быстроту и смыслённость, — правда, что они ночью приходят?.. Ну, втыкать...

— Правда, — сказал Вадим. — Поэтому ночь — не для подвигов. Ночь — для слуха. Ложитесь спать по очереди, и чтобы один всегда слушал. Уши здесь — главнее глаз. Глаз видит четыреста метров, а ухо слышит всё.

Он говорил и слышал самого себя — со стороны, из другого года. Так говорил им Захарченко на учебке в Балтийске; так говорил Циркуль в девяносто девятом, на второй войне, когда Вадим, двадцатитрёхлетний, думал, что всё уже умеет. Циркуль тогда водил их ночью по склонам — «слушать местность», — и останавливался, поднимал ладонь, и все стояли в темноте по

пять минут, по десять, и он потом спрашивал: «Что слышал?» — и каждый слышал своё: кто ветер, кто камни, кто шаги, которых не было. «Вот, — говорил Циркуль, — это и есть служба. Слушать то, чего нет, пока оно не пришло». Вадим тогда сохранил это в себе как монету; теперь монету пора было отдавать. Он смотрел на Сынка, на других, на эти новые, непривычные к тишине лица — и понимал, что стал теперь тем, кем были для него Захарченко и Циркуль: передатчиком. Раньше других погибнуть — единственный способ уйти с этой должности. Он отогнал мысль, как отгоняют со стола крошки: на позиции — не думать о том.

Вечером они сидели у ниши, ужинали из котелков, и Сынок попросил: — Дядь Вадим, а расскажи, как оно... в первую. Ну, вообще. Один раз только. — И Вадим, подумав, рассказал — не про страх и не про геройство, а про землю: как его, зелёного, научили в девяносто пятом одному простому делу — не бегать. — Бежит человек — он уже мёртвый, просто ещё не знает. Идёт — живой. Мы вот с вами теперь ходячие. Все. Целый взвод ходячих. — Мальчишки засмеялись — нервно, но по-настоящему, — и смех этот в траншее, на четырёхстах метрах от чужих автоматов, был правильнее всяких слов, и Вадим разрешил ему звучать.

Дежурства «по небу» он поставил с первого дня — сам, никого не спрашивая. Каждые два часа, светлое время, один человек с биноклем и с глазами вверх: смотрел небо — не на восток, не на запад, а вверх, на зенит, где противник висел и работает. Слово «работает» тут было главным глаголом: небо работает — значит, идёт корректировка, жди удара; небо чистое — значит, чистое относительно. Он сам стоял первую неделю по три смены в день, и глаза его, возрастные, уставали, но опыт — не уставал: он слышал дрон раньше, чем мальчишки видели, — по звуку, по тишине птиц, по собственному затылку.

Первый обстрел пришёл на девятый день.

Было около четырёх дня, солнечно, ветрено; сушили после дождя снаряжение, и Вадим как раз проверял ячейки на стрелковых постах, — когда началось. Сначала — звук, тот самый, приглушённый стук-перещёлкивание миномёта за противником, за высотой, — и тело сработало раньше имени: он был в щели, в два счёта, без мысли, без решения, и голос его уже командовал, ровный, скучный, домашний: — Миномёт. Всем в щели. Не высовываться. Считать.

Земля дрожала. Она дрожала, как дрожала двадцать восемь лет назад под Бамутом, — всем пластом, всем полем, и грязь сыпалась с потолка блиндажа, и где-то бился, звенел, срывался котелок, — и Вадим лежал, прижавшись щекой к холодной земле, и земля говорила с ним на старом языке, единственном, который она знала: «сейчас... сейчас... сейчас...». Он считал разрывы. Память тела, не спрашивая его, накрывала собой всё: вот плеск — значит, калибр малый; вот с сухим треском — значит, ближе; вот молча, толчком в живот земли, — значит, вот он, рядом, — и он слышал, как рядом, в соседней нише, дышит, захлёбываясь воздухом, Сынок, и говорил ему — не оборачиваясь, ровно, как говорили с ним самим когда-то: — Дыши. Просто дыши. Вдох — выдох. Это просто погода. Погода — и пройдёт.

«Погода» — слово из первой войны. Циркуль научил: обстрел — погода, её нельзя пережить усилием, её переживают дыханием. Сынок дышал — рвано, страшно, но дышал, и на счёте «девять» всё кончилось: замолчал миномёт, осела пыль, и наступила та особенная, воробьиная тишина после обстрела, когда тишина — не отсутствие звука, а звук отдельный, самый громкий.

— Всем пересчитаться! — крикнул Вадим, поднимаясь. — По одному! Громко!

Пересчитались. Все. Ни царапины — повезло: били не по ним, а по высоте, по площадям, по расписанию чужой войны. Мальчишки стояли бледные, некоторые — с дрожью в руках, и Кабан, белый вокруг рта, сказал уважительно, отплёвываясь: — Ни...чего себе погодка у вас тут. — А Вадим смотрел на них и понимал главное, то, что нельзя было сказать вслух: сегодня они получили первую прививку. Малой кровью. Так выходит не всегда и не со всеми — но сегодня вышло.

Он подошёл к брустверу и посмотрел на поле, на четыре сотни метров вспаханной, заминированной земли, за которыми в зелёнке сидели такие же люди. Солнце уже шло к вечеру, и тени от «ёжиков» легли на землю длинные, прямые, как чертёж, — и вдалеке, над промзоной, висел, не двигаясь, чёрный крестик — корректировщик. Небо работало. Вадим снял каску, вытер лоб и подумал — спокойно, по-рабочему, как думают о предстоящем деле: «Ну что. Приехали. Теперь — жить».

Жить на нулевой линии значило копать, слушать и молчать. Он умел всё это лучше многих — потому что его учили те, кого не было уже в живых, а он, выжив, выучил. Теперь очередь была его.

Глава Пятьдесят вторая. Фруктовая Роща

В конце апреля роту подняли по тревоге и отвели на сутки в тыл, в посадку, где при свете маскированных фонарей штаб командира батальона разворачивал карты на капоте «уазика». Задача была простая до неприличия, как всё самое опасное: впереди, в полутора километрах, у канала, стоял опорный пункт противника, который наши солдаты между собой называли «фруктовая роща» — по тёмному пятну старого сада на аэрофотоснимке. Рощу требовалось взять. Штурмовая группа — шестнадцать человек, два отделения, — подход к броску на машинах, дальше пешком через посадку, артподготовка с четырёх утра, и — шаг за шагом.

Шаг за шагом. Вадим слышал это выражение от Графа и понял его не сразу. В его первую войну наступления назывались иначе и измерялись другими словами: выйти, сбить, закрепиться. Здесь же всё начиналось с неба и кончалось небом: сперва дроны висели над рощей неделями, вырисовывая каждую ячейку, каждый ход, каждую скамейку; потом артиллерия и тяжёлые огнемёты перемалывали один участок — не рощу всю, а кусочек её, метра три на три; и только потом входила группа — и брала этот кусочек. Три метра за день. Пять метров. Иногда — ноль, когда не получалось. Так война шла вперёд, как идёт корень сквозь камень: не прыжком, а наращиванием, медленным, нечеловечески терпеливым.

— Горских, — сказал Граф вечером, разбирая с ним список группы, — идёшь вторым. Не потому что герой. Потому что твои мальчишки пойдут ровнее, если ты в цепи.

— Понял, — сказал Вадим. И добавил, помолчав: — Если что — я вынесу. Не лезь первый.

Граф посмотрел на него долгим взглядом ровесника и кивнул. Между ними всё было понято без уставов.

Ночь перед штурмом Вадим спал четыре часа — по-конски, как научили когда-то, — и проснулся за час до подъёма от тишины. Он лежал в нише и слушал, как дышит взвод, и знал всех по дыханию: Кабан — басом, с подвыванием; Сынок — часто, по-птичьи; Граф — ровно, по-командирски. «Господи, — подумал он без слов, одними границами мысли, — пронеси. Не меня. Их». В нагрудном кармане, под бушлатом, лежали конверт и лист; он не трогал их и в этот раз. Потом все встали, пили чай без сахара, проверяли друг друга, и Вадим ходил вдоль цепи и затягивал ремни на чужих разгрузках — отцовская привычка, руки сами помнили, как это делается: сдёрнуть, проверить, похлопать по плечу. Плечо понимало лучше слова.

Артиллерия начала в четыре десять.

Она работала по роще сорок минут, и это было похоже на работу фабрики: ровные, размеренные, вселенского масштаба удары, от которых дрожала земля в посадке и сыпалась с листьев роса. Небо на востоке к этому времени уже серело — та полоса между ночью и днём, когда мир ещё не решил, каким ему быть. Когда огонь был перенесён в глубину, Граф поднял цепь, и они пошли.

Полтора километра прошли по мёртвой земле. Вадим видел войну и раньше, но такой чистой работы не видел никогда: поле перед рощей было перепаханно — не в переносном смысле, а буквально, как перепахивают огород, — и в этом перепаханном чёрном лежали, врас-тая, обгорелые остовы то ли броневика, то ли трактора. Пахло гарью, землёй и чем-то сладковатым, чего Вадим знал источник и на что не смотрел. Цепь шла шаг за шагом: десять шагов — залечь, слушать, — десять шагов — залечь. Вадим шёл вторым и считал не шаги, а головы впереди и позади: голова Графа, голова Сынка, голова Кабана; все на месте; идём.

Дроны появились над полем, когда до рощи оставалось метров триста.

Их было видно сразу — по тому, как насторожилась цепь. Маленькие, серые, ростом с дрозда, они висели над деревьями и над полем, висели и перелетали, и звук их был тонкий, комариный, свербящий — звук, от которого через месяц войны у всех сводило скулы. Вадим

лежал в борозде и смотрел, как один, неторопливо, описывает круг над полем, — и вдруг понял, на что это похоже. На Дудкино. На пруд его детства в июльский полдень, когда над тёплой водой стоят, трещат, висят стрекозы — синие, прозрачные, — каждая над своим местом, каждая высматривает внизу своё. Он смотрел на дрона, и дрона не было: была стрекоза над прудом, и вода блестела, и отец стоял на берегу в закатанных брюках и говорил: «не дёргайся, сынок, они боятся движения». Здесь всё было так же — только со смертью: внизу, под каждой стрекозой, лежал человек, и стрекозе было всё равно, который из них дёрнется.

— Не двигаться, — прошелестел по цепи голос Графа. — Лежим. Работает «курган».

«Курган» — их станция подавления, прикрывшая подход, — загудела где-то позади, невидимая, и дрон, описавший круг, вдруг пошёл вбок, в сторону, теряя управление, и упал в бурьян за каналом. Второй поднялся выше и ушёл. Небо очистилось — на время. «Всё, — подумал Вадим. — Вот теперь — бегом». И цепь, повинувшись взмаху руки Графа, встала и побежала — не онемевшими от страха людьми, а одной, слаженной, звериной тягловой силой, вразвалку, низко, — и Вадим бежал вторым и слышал за спиной топот и дыхание своих, и это было правильное звучание мира.

Первый окоп они взяли без выстрела: в нём после огневого вала оставались только земля и то, что было раньше людьми. Второй окоп — дальше, за садом, — отвечал. Сам собою, будто включили рубильник, начался автоматный бой: короткие очереди, крики, хлопки подствольников, — и Вадим, прижатый к брустверу вишнёвой ямы, старой, довоенной, чувствовал, как война становится обыкновенной: руки сами делали всё, чему их учили тридцать лет, — перебежка, упор, очередь, снова перебежка. Тело помнило. Тело было старое, сорокасемилетнее, с осколком у позвоночника, — но оно помнило эту работу лучше, чем любую другую работу его жизни.

Рощу зачистили к полудню. Из шестнадцати человек трое были ранены — легко и средне, осколками, — и ни один не убит. Вадим перевязывал Сынка, распоровшего бедро осколком арматуры, и парень, стиснув зубы, повторял: — дядь Вадим, я же нормально, я же шёл... — и Вадим, затягивая бинт, говорил ему то, что положено: — Шёл. Видел. Молодец. Сейчас полежишь — и дальше шёл.

А потом наступила тишина — та, боевая, полная, когда всё живое в радиусе версты молчит, и только земля дымится. Вадим сел у вишнёвой ямы, спиной к стволу, и посмотрел на небо. Небо было уже дневное, высокое, майское, и в его выси, в тёплом мареве, висели, не тая, две белые полосы — следы чьих-то самолётов, которым не было дела до рощи. «Вот, — подумал он устало и ясно. — Первый. Первое «шаг за шагом». Это не война его молодости, — понял он тогда окончательно. — Та война была бегом: от леса к лесу, от камней до камней. Эта — корнем. Медленно, кровно, на три метра в день. И небо на ней воюет вместе с землёй».

Солнце поднималось к полудню, и жара первой майской волны уже трогала лицо. Вадим закрыл глаза на минуту — и увидел пруд: стрекоз, блеск, отца в закатанных брюках, берёзу на том берегу, высокую, с плакучими ветвями, трепетавшую от тёплого ветра. Он открыл глаза: берёзы не было — был сад, разбитый, обгорелый, с висящими на ветках оборванными проводами. Но внутри, там, где память хранит главное, берёза стояла. И он знал, что она будет стоять.

Глава Пятьдесят третья. Вода

Лето пришло на войну так же, как приходило всегда, — сразу, всем весом, без предупреждения. Ещё в мае дожди мазали чернозёмные дороги до состояния катка, а в июне солнце встало над степью хозяином и больше не садилось до самой осени — только меняло угол. Степь выгорела за три недели: зелень ушла из травы, как уходит краска из ткани, оставшейся на солнце; остались пыль, полынь и жара, густая, осязаемая, стоявшая над балками как стеклянная стена. Термометр в тени блиндажа показывал за сорок, но тени на позиции было четыре метра на человека — по числу метров бруствера.

Вода стала золотом. Не фигурально — по весу, по цене, по всему. Привозили её в автоведрах и армейских флягах раз в двое суток, с риском, потому что водовозы были любимой целью противника: он бил по дорогам снабжения методично, с наслаждением, — и потому каждая цистерна приходила уже своей собственной биографией: эта — обстреляна на подъезде, эта — застревала, эта — привезла вдвое меньше, потому что треть слили соседям на кипятки, у которых было ещё хуже. Воду берегли, как берегут патроны в окружении: литр — питьё, литр — кухня, пол-литра — зубы и лицо, и ни капли — на мытьё. Кабан, похудевший до размеров просто крупного мужчины, говорил про это коротко: — Я двадцать лет таксистом — я бензин берёг. Теперь я воду берёг. Смена одна.

Вадим устроил водный распорядок по науке старых войн: пить — маленькими глотками, часто, не ждать жажды; флягу — держать у тела, в тени, обёрнутой мокрой тряпкой; колодец в балке — запретить, потому что колодец на нейтральной полосе — это не вода, это удочка. Мальчишки первое время ворчали, потом поняли: на жаре ошибок не бывает, бывают похороны. Один раз Сынок, посланный с флягами к пункту водоносности, рванул через открытое напрямую — и вернулся под перекрёстным свистом пуль, целый, оглушённый, — и Вадим, не повышая голоса, сказал ему всё; сказал коротко и страшно, как говорят не командиры, а отцы, — и Сынок тогда впервые заплакал на войне, и Вадим, отчитав, обнял его за мокрую шею одной рукой и сказал уже другим тоном: — Живой. Всё. Иди пей. По глотку.

Слово «Батя» прицепилось к Вадиму в те недели — сначала как «дядя Вадим», потом, по солдатской экономии, — короче. Началось с Кабана: тот, большой, немолодой, сорока четырёх лет, никак не мог называть сверстника-сослуживца по званию и выворачивался: «товарищ сержант» — в строю, «дядя Вадим» — в жизни, а в работе, в бою, когда требовалось быстро, само вылетало: «Батя, слева!», «Батя, воду несут!». За июль так стали звать все — от Сынка до Графа, и Граф, майор, командир роты, однажды сказал на разборе, в присутствии всех: — Позывной «Батя» закрепляю за Горских официально. Короткий, всем понятный. И правильно: кто, если не он. — Вадим принял это молча, кивнул; только внутри у него что-то повернулось, медленно и тяжело: «Батя». Захарченко в учебке был «Батя». Циркуль был «Батя» — для своих, тульских. Теперь он. Круг замкнулся так ровно, что и сопротивляться было нечему: должность передаётся, как передаётся лопата, — из рук в руки, тем, кто остаётся.

Летом взвод жил по распорядку, похожему на распорядок монастыря, — если бы монастырь работал ночами. Днём — спать, чесаться, беречь силы; в сумерках — жизнь: копали, носили, чинили, обучались; в темноте — работа: выводы, минирование, наблюдение. Вадим вёл свои «курсы» — час в сумерках, без конспектов, на любой теме, которую подсказывала вчерашняя ночь: как слышать миномёт по плеску и как отличать свой плеск от чужого; как лежать под дроном; как не смотреть на разрыв — смотреть на землю рядом; как выносить раненого одному, если второго нет; как прощаться, если не вынес. Последнюю тему он вёл один раз, и больше её не требовалось: молодые слушали, опутив головы, и молчали, и молчание это было глубже клятв.

В конце июля в их роту перевели из другой части пополнение — пятеро, все младше Вадима лет на двадцать пять, — и старший этих пятерых, гладкий, надушенный сержант из тыла, первые сутки всё пытался понять, кто здесь главный после Графа. На вторые сутки он увидел, как Вадим — просто, без команды, по-хозяйски — выправляет у новичков окопную ячейку, поправляя лопату в чужих руках, как поправляют чужому ребёнку шапку; увидел, как на слово «Батя» оборачиваются трое из разных концов траншеи, — и перестал понимать, поняв всё. — Разрешите обратиться, — сказал он вечером, официальным тоном, — товарищ сержант, возьмите и нас... под опеку. — — Бери воду — иди копай, — ответил Вадим. — Опека тут одна: глубже копаешь — дольше живёшь.

Августовский закат в тот вечер стоял над степью невыносимый, ненастоящий — из тех, за которые на гражданке платят фотографам и путешествиями. Солнце садилось в пыльной дымке, и диск его был огромен, багров, и вся западная четверть неба горела — от жёлтого внизу до малиновоговерху, — а пыль, поднятая за день колоннами и ветром, лежала в воздухе горизонтальными полосами, и в этих полосах свет ходил волнами. Вадим стоял на наблюдательном посту и смотрел на это богатство, и думал о том, что закат прекрасен всегда — и над Дудкиным прудом, и над пепелищем. Красота не выбирает, где ей гореть. Ей всё равно, что под ней: вода или война, — горит и всё. Он стоял, и солнце таяло в его глазах, и не было в нём ни мысли, ни тоски — одна только жажда смотреть, как смотрят на уходящее.

— Батя, — сказал рядом Сынок, появляясь из хода сообщения, — ужин. И там... вода пришла. Полторы бочки.

— Полторы, — повторил Вадим, отрываясь от заката. — Золото. Идём.

Полторы бочки в тот вечер сделали всех богатыми: впервые за неделю умылись с плечами, и Сынок, зарядившись настроением, обрил Кабану затылок машинкой, и Кабан сидел на ящике, голый по пояс, белый от пыли и счастливый, как медведь в реке, и рассказывал — в десятый раз, но всякий раз как первый, — как дочка его в прошлом году сама, без матери, записалась в школьный хор и как на концерте забыла слова и стояла, красная, а потом взяла и запела заново, с начала, и никто в зале не засмеялся, потому что все ждали. — Вот это — характер, — говорил Кабан, поворачивая голову под машинкой, — это, Батя, не характер — это порода. Мать у неё такая. Я так не могу: я бы расплакался и ушёл.

— А она встала и запела, — сказал Вадим.

— Встала и запела, — повторил Кабан счастливо.

Сынок стриг, мальчишки слушали, солнце уходило. Когда оно село совсем, в пыльной дымке над западом остался свет — ровный, литой, — и в середине его, над самой землёй, висело, не тая, солнце-повторение: маленькое, круглое, золотое, как медаль на груди неба. Вадим смотрел на него из траншеи и думал, что такую медаль выдают за то, что дожил до вечера, — и что дают её каждому, без представлений и приказов, каждый божий день.

— Медаль, — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь.

— Чего? — не понял Кабан.

— Солнце, — сказал Вадим. — Смотри, пока дают.

Они пошли по траншее в сумерках, и над головой у них, в темнеющем небе, вставала первая звезда, и где-то далеко, за противником, вполголоса работала артиллерия — не по ним, мимо, по чужому счастью, — и жизнь была простая, как полтора литра воды в день: копай, слушай, молчи, выноси. Вадим шёл и чувствовал в кармане, слева, под сердцем, два своих листа — старый конверт и берёзовый, — и думал, что мать уже написала ему первое письмо — бумажное, крупными буквами, через волонтеров, — и что письмо это где-то едет к нему уже вторую неделю, и что вот так, наверное, и ездят по свету все слова всех матерей: медленно, надёжно, поверх всех фронтов.

Глава Пятьдесят четвёртая. Небо Работает

Осень изменила войну второй раз за год. Летом она была войной жары и пыли — война солнца, выжигающего траву и глотки; осенью она стала войной неба. Это поняли не сразу, а когда поняли, то уже нельзя было жить по-прежнему: небо работало. Так и говорили — «небо работает» — и все понимали, что это значит: вверху, в четырёхстах, в семистах метрах, висели глаза, и глаза эти не мигали и не спали.

Осень вообще была подходящая погода для неба: дожди кончились, воздух выстоялся, прозрачный до рези, и в таком воздухе дроны летали далеко и видели глубоко. Над позициями теперь висели постоянно — волнами, посменно, как несут вахту: одно гудение сменялось другим, и по звуку Вадим уже различал, кто наверху, — как различал когда-то по плеску миномёты. Тихий, ровный, мошкиный звук — корректировщик, «мавик»: он не убивал сам, он висел и смотрел, и оттого был страшнее всех. Тонкий, злой, нарастающий вой моторчика на пике — «эфпиви»: тот прилетал убивать. Между ними лежала вся новая война: один смотрел, другой бил; и не было от них укрытия ни в окопе, ни в блиндаже, ни в полудне пути.

Вадим смотрел на это глазами человека, у которого было с чем сравнивать. В его первую войну смерть ходила по земле. Она была в минах под ногами, в пулях по поясу, в осколках, летевших от земли до земли; она была в засадах на дорогах, в растяжках в дверях, в снайпере в окне — и против неё были простые, крестьянские средства: копай глубже, ходи шагом, смотри под ноги, слушай землю. Земля была полем боя, и земля же была защитой. Теперь смерть висела в воздухе. Она прилетала сверху, вертикально, в слепую зону любого бруствера, и никакая лопата против неё не помогала. Против неё помогали сеть, «курган», ложный окоп и запас дистанции — и то не всегда. — Раньше, — говорил Вадим молодым, — надо было уговорить землю. Теперь — небо. А небо, сынки, не уговоришь. У неба просьб не принимают.

Изменились и ночи. Раньше ночь была союзником: ночью можно было всё — носить, менять, хоронить, прорываться; ночь прятала. Теперь ночь светила. Дроны с тепловизорами снимали тьму, как плёнку, и в приборе ночного видения человек в поле был не тенью, а фонарём: тёплое пятно на холодной земле, видно за версту. Ночь перестала быть передышкой войны и стала её продолжением, только с другими красками. И всё же ночь оставалась — ночью хотелось жить.

В конце сентября у них на позиции случилась ночь, которую Вадим запомнил целиком, не по кускам.

Стояла та осенняя ясность, какая бывает в Донбассе в начале осени: воздух чист, как стекло, небо чёрное, плотное, и звёзды в нём — крупные, низкие, до горизонта, — как в детстве над Дудкиным прудом. Противник с сумерками начал «грелку» — сброс осветительных снарядов, — и над полем повисли, качаясь на парашютах, белые огни, и под ними нулевая линия лежала голая, стёртая, как тарелка. А потом с той стороны пошла стрельба — и не пулемётами: трассеры. Красные, толстые, снарядные, они шли поверх головы, из темноты в темноту, и каждая трасса оставалась в глазах длинным светящимся следом, и по этому следу можно было читать войну, как по строчкам: вот эта бьёт в молоко, вот эта — по высотке, вот эта прошивает сад и гаснет где-то в тылу.

Вадим стоял в траншее и смотрел вверх — на звёзды, на огни, на красные строки между ними, — и внутри у него было спокойно и грустно, как бывает на кладбище. «Вот, — думал он, — как в первую войну. Тогда тоже были ночи со звёздами и трассами; тогда мы тоже лежали и смотрели на это, и Санёк говорил: „гляди, салют“». — И память, не спрашивая, показала Санька: живого, мордастого, с чубом, лежащего рядом на бруствере девяносто пятого года и смеющегося в темноту. Двадцать восемь лет как убитому. Двадцать восемь лет — живому, пока Вадим помнит. Он стоял, и звёзды над ним горели до горизонта, и красные трассы летели под

ними, и между звёздами и трассами не было разницы: и те и другие были про смерть, только звёзды — про вечную, а трассы — про сегодняшнюю.

— Батя, — прошептал снизу Сынок, сидевший в нише, — а чего они палят-то? В никуда же.

— Так и надо, — сказал Вадим. — Ночь короткая, а страх длинный. Вот и палят, чтобы не молчала темнота. И мы бы палили, если бы нам сказали.

Он сказал — и услышал в собственных словах Захарченко, и Циркуля, и всех, кто говорил ему это когда-то, в другие ночи, над другими полями. Слова переходили из поколения в поколение, как переходят часы: идут — и передаются. Ничего нового на войне не было, кроме неба. Небо было новое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.